

Георгий Валентинович Плеханов

**Н. Г. Чернышевский. Книга
первая**



Георгий Плеханов

Н. Г. Чернышевский. Книга первая

«Public Domain»

1910

Плеханов Г. В.

Н. Г. Чернышевский. Книга первая / Г. В. Плеханов — «Public Domain», 1910

«...Литературная деятельность Чернышевского приблизительно совпадает с эпохой известных реформ Александра II. Русские либералы до сих пор еще сохраняют трогательную память о «царе-освободителе», до сих пор еще поют ему хвалебные гимны, приходящиеся не по душе цензорам теперешнего царя, который, как известно, смотрит на своего отца, почти как на якобинца. – Пишущий эти строки сознает себя одинаково свободным как от предрассудков русских либералов, так и от пристрастия к Александру II. Он может поэтому объективно отнестись к реформам Александра II...»

© Плеханов Г. В., 1910

© Public Domain, 1910

Содержание

Предисловие редактора	5
Н. Г. Чернышевский и его время	10
I	25
II	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Георгий Валентинович Плеханов Н. Г. Чернышевский. Книга первая

Предисловие редактора

Мы писали уже в предисловии к первому тому, что нам при издании сочинения Плеханова придется в некоторых случаях делать отступления от строго хронологического принципа, в общем и целом положенного в основу нашего издания. Мы уже тогда решили выделить все статьи Плеханова о Чернышевском в отдельную группу.

Можно – без особенного преувеличения – сказать, что чуть ли не с первого своего политического выступления на Казанской площади и до конца жизни Плеханов, очень часто и с особенной любовью, возвращался к Чернышевскому. В письме к Лаврову от 31 октября 1881 г. он пишет:

«С тех самых пор, как во мне начала пробуждаться критическая мысль, Вы, Маркс и Чернышевский были любимейшими моими авторами, воспитывавшими, развивавшими мой ум во всех отношениях».

В первой статье, в которой Плеханов выступает уже как вполне сложившийся марксист, как основатель первой русской социал-демократической группы «Освобождение Труда», он называет Чернышевского «родоначальником русской социальной демократии».

В «Наших разногласиях» он с глубочайшим уважением пишет о «великом писателе». И в последней статье о Чернышевском, относящейся к 1913 г., Плеханов пишет: «Мое собственное умственное развитие совершилось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым событием в моей литературной жизни».

И все-таки в эволюции взглядов Плеханова на Чернышевского были известные «перебои», особенно отчетливо сказавшиеся в том самом детальном «разборе взглядов» Чернышевского, который, по признанию самого Плеханова, был «целым событием в его литературной жизни».

Мы имеем целых три редакции этого «разбора взглядов» Чернышевского. Во-первых, четыре статьи в «Социал-Демократе» (1890–1892), во-вторых – книга о Чернышевском на немецком языке, вышедшая в «Международной Библиотеке» Дитца в 1894 г.¹, в-третьих – большая книга о Чернышевском, вышедшая в издании «Шиповника» в 1910 г.

Какую из этих трех редакций следовало выбрать для этого собрания сочинений?

Конечно, можно сказать, что вопрос поставлен совершенно неверно, что в полное собрание сочинений должны были бы войти все три редакции, что всякая ссылка на технические затруднения в данном случае была бы несостоятельна.

Но такой ответ был бы основан на полном незнакомстве со всеми этими редакциями. И никто не протестовал бы против такой перепечатки всех трех редакций с большей энергией, чем сам Плеханов.

Обратимся к его предисловию к последней редакции, т. е. к изданию «Шиповника». Вот что пишет Плеханов о своей работе:

«Предлагаемая работа состоит из двух частей: *первая* – только теперь появляется в печати²; *первый* отдел второй части тоже написан заново³, второй же ее отдел («Политико-эко-

¹ Plechanow. G. N. G. Tshernischewsky. Eine literar-historische Studie. Mit einem Porträt Tschernischewsky's. Stuttgart, Verlag von T. H. W. Dietz. 1894. Internationale Bibliothek. Band 20.

² «Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского».

³ «Политические взгляды Н. Г. Чернышевского».

номические взгляды Чернышевского») представляет собой перепечатку моих статей о Чернышевском, появившихся вскоре после смерти нашего великого писателя в одном трехмесячном обозрении, а потом вышедших, с некоторыми необходимыми для немецкой публики дополнениями, в немецком переводе у известного издателя Дитца в Штутгарте. – Я печатаю теперь этот *второй* отдел *второй* части почти без всяких изменений. Только кое-где сделаны мною «примечания» к настоящему изданию. Я не считал себя в праве подвергать этот отдел переработке, да, по правде сказать, и не видел в этом нужды».

Если принять во внимание, что при педантичном – хотя в некоторых случаях вполне законном – отношении к задачам редактора полного собрания сочинений такого крупного писателя, как Плеханов, пришлось бы в данном случае повторить три раза почти буквально чуть ли не двадцать печатных листов, то читатели поймут, почему я отказался от этого.

Гораздо важнее было установить, можно ли ограничиться одной только последней редакцией. Нужно было поэтому тщательно сравнить все три версии.

В результате оказалось, что немецкая редакция, как целое, совершенно отпадает. За исключением введения (стр. 3-28), немецкое издание представляет почти полное воспроизведение статей из «Социал-Демократа» с некоторыми стилистическими смягчениями, но и с некоторыми пропусками. Большинство из последних сохранено и в последней переработке, но есть и такой, который имеется только в немецком переводе⁴.

Мы поэтому ограничимся тем, что даем в русском переводе (сделан А. Потресовым) маленькое введение, написанное специально для немецкого издания.

Остается еще первая редакция, важная в особенности потому, что она относится к концу восьмидесятых и началу девяностых годов, когда взгляды Плеханова изменялись не только в своих оттенках, но и в существенных пунктах, конечно, поскольку речь шла о тактических взглядах или отношении к тому или другому явлению общественной и политической жизни.

Кроме того, Плеханов 1889–1891 гг. и Плеханов после революции 1905–1907 гг. не мог одинаково смотреть на ряд отдельных вопросов. Мы рисковали бы таким образом, выбрав только последнюю редакцию, что читатель получил бы не совсем «адекватное» представление о действительных взглядах Плеханова на Чернышевского или о развитии их.

Но есть и еще одно обстоятельство, которое не позволяет ограничиться одной только последней реакцией. Это особенные условия, при которых писался Плехановым первый «разбор взглядов» Чернышевского.

Дело в том, что, как это после признал и сам Плеханов, его статьи 1889–1891 гг. о Чернышевском были иногда статьями против Чернышевского, в которых публицистический и политический момент зачастую вытеснял *историческую точку зрения*.

В предисловии к последней переработке этих статей Плеханов объясняет это следующим образом:

«Это обстоятельство отразилось и на статьях, перепечатываемых теперь во втором отделе второй части предлагаемой работы. В то время, когда писались эти статьи, наши народники и субъективисты усердно противопоставляли Чернышевского Марксу и твердили, что тому, кто усвоил себе экономическую теорию автора примечаний к Миллю нет ни малейшей надобности трудиться над усвоением теории автора «Капитала». Мне самому не раз приходилось слышать такое мнение оспаривать его в устных стычках с нашими многочисленными противниками.

«Поэтому, когда скончался Н. Г. Чернышевский и когда, естественно возник вопрос о подведении итогов его литературной деятельности я решился критически разобрать его экономические взгляды и показать что они принадлежат к той эпохе в истории социализма, которая

⁴ Для тех товарищей, которые займутся исследованием развития экономических взглядов Плеханова, отмечаю соответствующие страницы. Пусть сравнят стр. 434–436 в издании «Шиповник» (в нашем издании том II, стр. 147–149) и стр. 264–265 немецкого издания. Обращаю также внимание на вставку на стр. 265 и 335 немецкого издания.

должна теперь считаться уже отжившей». Именно это вызвало большое недовольство среди «не по разуму усердных поклонников Чернышевского». Плеханов опасается еще в 1910 г., что «иной предубежденный против марксизма, вообще, или против меня, в частности, читатель укажет на второй отдел второй части этой книги, как на доказательство моего неумения ценить названное наследство. И именно потому, что это возможно, я не счел себя в праве перерабатывать этот отдел: зачем отнимать вещественные доказательства у того, кто захотел бы выступить против меня в роли обвинителя?»

Мы сейчас увидим, что это не совсем так.

«А кроме того, – продолжает Плеханов, – в переработке и не было никакой серьезной нужды. Если указанные мною выше обстоятельства повлияли в свое время на мои статьи об экономических взглядах Чернышевского, то они повлияли на них исключительно только с *внешней*, а не с *внутренней* стороны: со стороны *изложения*, а не со стороны содержания».

Но об этом именно и шла речь во время *оно*. Статьи Плеханова о Чернышевском вызвали возражения не только со стороны народников и субъективистов. Многие молодые марксисты – к их числу принадлежал и я, в «устной стычке» высказавший Плеханову это со всей откровенностью, – тогда очень резко возражали именно против *внешней* стороны этих статей, против их *изложения*, против почти полного отсутствия в них *исторической точки зрения*. Тем более, что таких защитников Чернышевского, которые отрицали необходимость изучения экономической теории «Капитала», тогда, вопреки уверению Плеханова, не было. Если и встречались экземпляры этой породы в середине семидесятых годов, то даже в мрачную пору второй половины 80-х годов этих допотопных чудаков и в глухой провинции нельзя было уже найти.

А какова была *внешняя* сторона этих статей, показывает следующее место.

«Нам часто приходилось оспаривать нашего автора, доказывать несостоятельность, а местами и противоречивость его взглядов. Это может обрадовать русских охранителей. «Так вот он идол, бог нигилистов! воскликнут они. – Вот он, учитель, ссылка которого объявлялась величайшим преступлением нашего правительства перед наукой. Теперь оказывается, что экономические взгляды его не выдерживают критики. Очень приятное открытие!» На такие и подобные возгласы мы заранее отвечаем следующее. Нет ничего удивительного в том, что экономическая наука сделала большие успехи со времен Чернышевского и что, поэтому, взгляды его значительно устарели теперь. При том же новейшими успехами своими экономическая наука обязана социалистам, а не гг. охранителям, которые везде употребляли в дело самые бесстыдные софизмы для того, чтобы задержать ее развитие. *Правда, и для своего времени Чернышевский не был большим знатоком политической экономии. Но он все-таки понимал в ней несравненно больше, чем гг. русские охранители.* Его заживо похоронили в сибирской пустыне, но ни разу ни один из реакционеров даже не попытался опровергнуть хотя бы некоторую часть его учений. Отчего же это? Оттого ли, что у них не было охоты спорить с ним? Как бы не так! *Им очень хотелось бы опровергнуть его, но на беду свою они умели лишь писать пошлости на тему о том, что делали в романе: «Что делать?» Уже одно это показывает, насколько превосходил он своих врагов и умом, и талантом, и знаниями. А потому лучше молчать гг. охранителям, чтобы неосторожными и запоздалыми нападками на Чернышевского не напомнить читателям о своем собственном бессилии».*

В старое время трудно было даже понять, как могли эти надуманные, неестественно звучащие слова – образец литературной безвкусицы – вырваться по отношению к «великому ученому и критику», стоявшему выше не только Грингмутов и Цитовичей – кому это нужно было доказывать? – но и всех современных ему русских публицистов и мыслителей. Конечно, не только для своего времени Чернышевский был большим знатоком политической экономии. В русской литературе он и до сих пор остается самым *оригинальным* экономистом.

Плеханов после понял свой промах. Это место уже исчезло из немецкого перевода, и читатель будет тщетно искать это «вещественное доказательство» в последней русской редакции.

И еще один пример. В издании «Шиповника» помещено в конце книги большое «Примечание к настоящему изданию». Но достаточно его сравнить с концом четвертой статьи в «Социал-Демократе», чтобы заметить, что в большей своей части оно представляет значительную поправку в области «внешней» стороны, настолько значительную, что она влияет и на «внутреннюю» сторону. В 1891 г. Плеханов, признаваясь, что «иногда у нас вырывалось, может быть, слово раздражения», писал:

«Мы ставим его имя рядом с именем Белинского. И мы тем менее склонны уменьшать его литературные заслуги ввиду его теоретических ошибок, что, по нашему мнению, он и не задавался целями серьезного научного исследования. Он был образованным, убежденным и талантливым публицистом, которому надо было обратить на социальный вопрос внимание читающей публики, надо было предохранить эту публику от развращающего влияния апологетов буржуазного порядка».

В новой редакции, в издании 1910 г. та же фраза приняла следующую форму:

«Но при всех своих недостатках – на которые в наше время можно и должно смотреть исторически⁵, – точка зрения нашего автора не помешала ему оказать неоцененные услуги нашей нарождавшейся общественной мысли. Он был не только образованным, а прямо ученым, да к тому же еще убежденным и талантливым публицистом, который хотел обратить на «социальный вопрос» внимание своих «читателей друзей», принадлежавших преимущественно к разночинцам».

Я ограничиваюсь только этими двумя «вещественными доказательствами». Их достаточно, чтобы показать, что и с марксистской точки зрения имелись достаточные основания для критики. Ее до известной степени признал сам Плеханов, когда устранил из новой редакции ряд подобных мест и смягчил некоторые выражения, явившиеся плодом «раздражения». А Чернышевский в статьях Плеханова того времени часто отвечал за чужие грехи. «Мы хотели сказать нашим современным утопистам: посмотрите, как неудобно, как невыгодно, как опасно держаться утопической точки зрения; самого Чернышевского привела она к вопиющим противоречиям и с самим собою и с экономической действительностью. Чего же ждать от ваших теоретических усилий?» Так кончает Плеханов свои статьи в «Социал-Демократе», как бы подчеркивая этим особую «дидактическую» задачу своих очерков. Кошку бьют, а невестке наветки дают.

В результате многие взгляды Чернышевского подвергались критике только путем механического сопоставления с соответствующими взглядами Маркса. Мы и до сих пор не имеем еще исторической критики эконоимической теории Чернышевского, которая показала бы не только его «отсталость» от Маркса, но и то новое, что он внес в политическую экономию, опираясь на учения великих утопистов. И еще меньше мы имеем до сих пор историческую критику политических взглядов Чернышевского, который в своих политических обзорах проявлял поразительную силу анализа классово-подоплеку современных событий и подвергал самой беспощадной критике половинчатость и обывательщину отечественного и европейского либерализма.

Чтобы дать читателю все материалы для изучения взглядов Плеханова на Чернышевского, мы выбрали следующий путь. Мы перепечатаваем целиком, без всяких пропусков, последнюю редакцию, т. е. издание «Шиповника». Таким образом читатель имеет пред собою «разбор взглядов» Чернышевского, как он окончательно кристаллизовался после революции 1905–1907 гг. Но чтобы дать читателю возможность составить точное представление и о «раз-

⁵ Курсив Плеханова.

боре взглядов», сделанном в 1889–1891 гг., мы воспроизводим целиком первую статью из «Социал-Демократа», предпосылая ее, вместе с введением для немецкого издания, работе Плеханова, вышедшей в 1910 г. Что касается остальных трех статей из «Социал-Демократа», то мы печатаем из них только те страницы, которые были выпущены Плехановым в последующих изданиях. Читатель найдет их в приложении к шестому тому, в котором перепечатана вторая часть большой работы Плеханова, являющаяся как раз воспроизведением его старых статей⁶.

В шестом томе мы поместили также и все остальные статьи Плеханова о Чернышевском. К числу их относится большая статья «Эстетическая теория Н. Чернышевского», написанная еще в 1897 году и впервые появившаяся полностью в сборнике «За двадцать лет» в 1905 году.

Статья «Н. Чернышевский», написанная для «Истории русской литературы в XIX веке», хотя и напечатана была раньше большой работы – в 1909 г., но представляет только ее резюме. Юбилейная статья, напечатанная в «Современном Мире» (1909 г. Ноябрь), вышла почти одновременно с изданием «Шиповника». Статья по поводу книги Стеклова появилась в «Современном Мире» в 1910 г. (Апрель). Статья «Н. Чернышевский в Сибири» в «Современнике» (1913 г. Март) представляет последнюю по времени статью Плеханова о Чернышевском.

Таким образом в пятом и шестом томах собраны все «высказывания» Плеханова о Чернышевском. Остались неоговоренными только мелочи вроде стилистических изменений. Так, в издании «Шиповника» в двух-трех случаях Плеханов употребляет слово «скачок» вместо «революция» или заменяет такие термины по адресу Чернышевского, как «несообразность» более мягким – «неточность» или слово «нелепый» словом «ошибочный».

Пришлось сохранить и некоторые повторения, которые заметит всякий внимательный читатель. Дело в том, что Плеханов даже в первой части своего большого труда использовал местами свою первую статью – в «Социал-Демократе», – которую мы перепечатываем целиком.

*Д. Рязанов.
Апрель 1924 года.*

⁶ Им предпослано мною особое вступительное замечание.

Н. Г. Чернышевский и его время

Введение к немецкому изданию

(G. Plechanow, N. G. Tschernischewsky, Eine literar-historische Studie, Stuttgart 1894)

Литературная деятельность Чернышевского приблизительно совпадает с эпохой известных реформ Александра II.

Русские либералы до сих пор еще сохраняют трогательную память о «царе-освободителе», до сих пор еще поют ему хвалебные гимны, приходящиеся не по душе цензорам теперешнего царя, который, как известно, смотрит на своего отца, почти как на якобинца. – Пишущий эти строки сознает себя одинаково свободным как от предрассудков русских либералов, так и от пристрастия к Александру III. Он может поэтому объективно отнестись к реформам Александра II.

Тридцать лет тяготела над Россией правительственная система Николая «Незабвенного». Застой возведен был прямо в догмат. Все живые, все мыслящие, все протестующие элементы были либо уничтожены, либо вынуждены заgrimироваться до полной неузнаваемости... Только Крымская война принесла перемену. Она вскрыла несостоятельность Николаевского режима, и сам виновник этого режима не нашел другого выхода из тяжелого положения, как покончить с собой. Недовольные элементы, которые до сих пор боязливо прятались, начали дерзко поднимать свои головы. Реформа или новое самоубийство, и на этот раз самоубийство уже не того или иного самодержавца, а самого *принципа* самодержавия, – такова была дилемма, перед которой поставила история преемника Николая. Этот преемник благоразумно выбрал путь реформ, из коих важнейшая была *отмена крепостного права* в России.

Рабство (под именем «*холопства*») существовало в России с незапамятных времен. Об этом говорят ее древнейшие законодательные памятники. «Холопом» (рабом) мог сделаться всякий бедняк, продав себя своему богатому согражданину. Рабами делались также и военнопленные. Но все же в течение некоторого времени сфера распространения рабства оставалась весьма ограниченной. Рабы составляли исключительно дворню князей, бояр и богатых землевладельцев. Когда русские владетельные князья одаривали своих слуг населенными угодьями, то живущие на них крестьяне отнюдь не делались крепостными, – князь лишь передавал этим актом «государственным слугам» свое право обложения податями крестьян. Сами же крестьяне оставались по-прежнему «свободными людьми» и, как таковые, имели право менять своих господ или совсем их оставить и поселиться в свободной общине, т. е. платящей подати лишь князю.

Это положение вещей было в двояком отношении не выгодно государству.

Во-первых, крупные землевладельцы, в силу своего большого хозяйственного и политического значения, были в состоянии предоставить своим крестьянам более надежную защиту и более выгодные материальные условия, чем бедные землевладельцы, которым порою жилось не многим лучше, чем их податным людям. Последствием этого было то, что крестьяне толпами переходили от бедных помещиков к более состоятельным. Но эти бедные помещики были весьма многочисленны, и они к тому же составляли ядро «служилой» воинской силы Московского государства: из них главным образом набиралось московское войско вплоть до конца XVII века. Поэтому государство, если только оно не хотело подорвать своей военной

мощи, необходимо должно было запретить крестьянам покидать земли беднейших помещиков. Именно поэтому и было ограничено в конце XVI века право свободного передвижения крестьян.

Во-вторых, свобода крестьян оказалась непосредственно вредной интересам казны. Когда сломлено было господство татар, окружавших Московское государство с юга и с востока, для аграрной колонизации открылись необъятные пространства бесхозной, чрезвычайно плодородной земли. Используя свое право передвижения, крестьяне целыми толпами устремились в это Эльдорадо. Разумеется, за ними по пятам следовали царские чиновники, чтобы обложить их налогами и податями. Но для этого нужно было время, а при тогдашних обстоятельствах – иногда и не мало времени. Проходили десятилетия, прежде чем государству удавалось дать почувствовать колонистам свою тяжелую руку. А до той поры они ничего не платили государству. Правда, *круговая порука* давала общине *юридическую* возможность взыскивать всю сумму прежних податей и налогов с оставшихся и внесенных в податные списки крестьян, т. е. заставлять платить присутствующих за отсутствующих. Однако горький опыт давно уже показал Московскому правительству, что в деле взимания податей *юридическая и экономическая* возможности весьма часто совершенно не одно и то же: «там, где ничего нет, там и король теряет свое право». Как ни старались царские чиновники выколотить подати с крестьян, все же было невозможно, скажем, с *десяти* оставшихся на месте членов общины выжать столько же денег или продуктов и работы (в то время подати взимались преимущественно натурой), сколько раньше, напр., с *сорока*, действительно, а не на бумаге, находящихся в общине податных душ. «Княжье дело» терпело, несомненно, ущерб, и это как раз в то время, когда растущие сношения с Западом все настойчивее требовали заботливого наполнения государственной казны. Из этого неприятного положения не было в то время иного выхода, как прикрепление крестьян к земле. Так в течение XVII столетия окончательно было уничтожено право крестьян на свободу передвижения. Крестьяне попали всецело в крепостную зависимость *к помещикам* и соответственно *к государству*.

Но все же *крепостные крестьяне* не были еще приравнены *к рабам*. «Прикрепленный к земле» крестьянин (*glebae adscriptus*) не был говорящим вьючным животным, каковым испокон века был *«холоп»*. Честь превращения русского крестьянина в настоящего раба принадлежит великим реформаторам России – Петру I и знаменитой Мессалине Севера, Екатерине II.

Петр хотел создать в России постоянную армию по европейскому образцу, реформировать управление, заложить основы для развития торговли, торгового и военного флота, промышленности и образования. Для всего этого ему нужны были деньги, деньги и еще раз деньги. Петр не останавливался ни перед чем, чтобы их раздобыть. Издержки на реформы приходилось прежде всего оплачивать, конечно, так называемым податным сословием, – крестьянству и бедному городскому мещанству. Ближайшим экономическим последствием его реформ было страшное обнищание народа. Само собою разумеется, что Петра не мог остановить такой пустяк, как низведение крепостного крестьянина до положения «холопа». Ведь, его – Петра – реформаторским планам ни в малой мере не противоречило укрепление и распространение крепостного состояния. Наоборот. Как раз именно *крепостные* работали в основанных им фабриках и мануфактурах. Крепостное состояние было *неизбежным условием европеизации России*.

Преемники Петра с усердием продолжали его дело. «Просвещенной» Екатерине II оставалось лишь поставить точку над и. Указом от 7 октября 1792 г. она провозгласила, что «крепостные дворовые и крестьяне являются и должны являться составной частью помещичьего имущества, при отчуждении которого, как и при отчуждении недвижимости, составляются купчие крепости и вносятся пошлины в казну». Крестьянин стал таким образом простым *instrumentum vocale*, говорящим орудием, которое по своей природе принадлежало к *движи-*

мой, а не к недвижимой собственности. Случалось, что крепостные, как скот, продавались толпами на базарах.

Одновременно шло дальнейшее распространение крепостного права. Цари и царицы любили награждать своих фавориток и фаворитов поместьями. Екатерина II ввела крепостное право в Малороссии. Дворянство ликовало. И лишь порой ликование его омрачалось неожиданным сопротивлением, которое оказывали крестьяне.

Как ни был терпелив, как ни был консервативен русский крестьянин, он все же не сдавался без борьбы. Почти каждый шаг правительства на пути порабощения крестьянства сопровождался более или менее значительными крестьянскими восстаниями. В семнадцатом и в восемнадцатом веках Россия пережила настоящие крестьянские войны (бунты Стеньки Разина и Пугачева). При этом, разумеется, сила сопротивления народа становилась слабее по мере того, как русское государство европеизировалось. В девятнадцатом столетии нельзя уже указать ни на одно крестьянское движение, которое можно было бы поставить рядом с «бунтами» прежних веков. Но зато делались все более и более частыми мелкие крестьянские волнения. Особенно богато крестьянскими волнениями время царствования Николая, приказывавшего подавлять их с поистине зверской жестокостью. Официальная статистика крестьянских волнений, которая велась с тридцатых годов и вплоть до Крымской войны, показывает ежегодное увеличение их в продолжение этих двух десятилетий с почти математической правильностью. По временам брожение охватывало целые губернии, и то там, то здесь дело доходило до настоящих сражений между крестьянами и солдатами. Во время Крымской войны распространился слух, что правительство освободит всех тех крестьян, которые запишутся в ополчение. Этот слух вызвал много «беспорядков», особенно в Малороссии. Заключение мира дало повод к возникновению другого слуха: говорили, что Наполеон III согласился на заключение мира лишь под условием отмены крепостного права.

Правительство очень хорошо знало это настроение крестьян и опасалось всеобщего восстания: «Лучше освободить крестьян сверху, чем ждать того времени, когда освобождение начнется снизу», заявил Александр II.

Понятно, что при этих обстоятельствах правительство опасалось недовольства, которое непосредственно после смерти Николая стало замечаться среди «образованного общества». «Лучше добровольно дать то, что иначе, быть может, окажется взятым силою», так думал коронованный реформатор, так думало и большинство его советников.

Иначе могли думать лишь старые «николаевские солдаты», не признававшие и не знавшие ничего, кроме палки. Правда, не раз уж палка оказывала хорошие услуги русскому правительству. Но эта же палка поставила его в отчаянное положение во время Крымской войны. Прославленные николаевские военные учреждения оказались никуда не годными: офицеры, в особенности генералы, были *невежественны или трусливы*, вооружение – в самом жалком состоянии⁷, хищение казенных денег в интендантстве, артиллерийском и инженерном ведомствах достигло невероятных размеров и рассматривалось как бы законно-дозволенное. К этому присоединилось еще и то, что Россия, благодаря плохим путям сообщения, не могла надлежащим образом и в надлежащее время использовать наличные военные силы. Так, во время Крымской войны перевозка каждой бомбы из Измаила (вблизи устья Дуная) в Севастополь обходилась не менее 5 рублей. Наконец, и в финансовом отношении Россия стояла накануне

⁷ «Как мало николаевские герои парадов были знакомы с военным искусством, видно, напр., из операций генерала Корфа близ Евпатории, который в виду врага не поставил никаких форпостов и вследствие этого потерял батарею и много солдат. Среди них были также и трусы, как генерал Кирьяков, который при Альме спрятался в овраге» (Очерки русской истории от Крымской войны до Берлинского трактата. Изд. анонимно. Лейпциг 1879 г. Т. 2, стр. 33.) – Несколько лет тому назад русский исторический журнал «Русская Старина» опубликовал воспоминания одного участника Крымской кампании, в которых рассказывается, что французы с изумлением рассматривали подобранное ими на полях битвы русское оружие. «Посмотрите, – восклицали они удивленно, – с каким оружием сражаются эти варвары!»

банкротства. В 1855 году дефицит достигал 261.850.000 рублей (доходы: 264.119.000, расходы: 525.969.000). Следующий год принес еще больший дефицит. Правительство поторопилось с заключением мира. Но этого было недостаточно. Нужно было отыскать новые источники доходов, вызвать к жизни новые производительные силы. Но это было невозможно, пока существовало крепостное право. Распространенная в народе легенда имела глубокий смысл: освобождение крестьян было действительно навязано правительству «Наполеоном», т. е. ходом и исходом Крымской войны.

Если русская промышленность в начале своего развития при Петре I не могла существовать *без* крепостных рабочих, то, наоборот, в середине настоящего столетия для своего *дальнейшего* развития она неизбежно нуждалась в *рабочих свободных*. И не одна только промышленность требовала свободных рабочих. Уже в середине 40-х годов раздалась в русской литературе голоса, благодаря строгой цензуре, разумеется, робко и прикровенно утверждавшие, что процветание *сельского хозяйства* несовместимо с существованием крепостного права. Лучше всего это было доказано государственным чиновником Заблоцким-Десятовским в его обращившей на себя внимание официальной записке.

При Николае были построены в России всего 2 железнодорожные линии: из Петербурга в Царское село (городок, расположенный к югу от столицы на расстоянии 22 километров) и из Петербурга в Москву. Здесь не место касаться грандиозных хищений и растрат, совершенных при постройке этих железных дорог. Заметим лишь, что только последняя из этих дорог имела хозяйственное значение; первая же служила лишь увеселительным прогулкам петербургского «общества». Сейчас почти невозможно себе представить, с какими трудностями сопряжена была в то время перевозка товаров из Московского промышленного района, напр., в Малороссию. И чем больше развивалось производство, тем настоятельнее выступала необходимость постройки железнодорожной сети, которая охватила бы важнейшие русские города.

Не лучше обстояло дело и с телеграфным ведомством. До 1853 года в России существовало лишь оптическое телеграфное сообщение между Петербургом и Варшавой, служившее лишь для личного пользования императора. В следующие годы установлены были электрические телеграфные линии, но в ограниченном числе: в 1857 г. телеграфная сеть не превышала 3.725 верст. Развитие торговли и промышленности требовало, следовательно, и в этом направлении основательнейших «реформ».

Николай совершенно не допускал частных акционерных обществ, в особенности акционерных банков. Помещики и купцы, нуждаясь в деньгах, обращались в государственные кредитные учреждения. «Русско-Американская компания, два страховых общества, от двух до трех обществ паровых и промышленных – вот все, что составляло акционерный мир России», – замечает автор уже цитированных «Очерков русской истории». Начало нового царствования характеризуется настоящей горячкой акционерного грюндерства. Как грибы после дождя, начали появляться акционерные общества, сулившие наивным людям чрезвычайные прибыли и стремившиеся охватить самые различные стороны социально-экономической жизни (существовало, напр., общество «Гидростат», имевшее своей целью «поднятие затонувших в море кораблей», общество «Улей», «для улучшения положения рабочих» и т. п.). Многие из этих основанных обществ, разумеется, лопались затем, как мыльные пузыри, наполнив карманы своих учредителей. Между тем уже сама наличность подобного рода грюндерской горячки показывает, до какой степени тогдашняя Россия переросла старые формы экономической жизни, унаследованные от Николая. Но для того, чтобы могли развиваться новые формы жизни, нужно было прежде всего скинуть с себя мертвый груз крепостного состояния.

Наконец – и это соображение для многих слуг царя было решающим – крепостное право не давало возможности правительству стричь крестьян по желанию. Дело в том, что подати с крепостного населения взимались через посредство помещиков. Каждое дальнейшее увеличение податей, каждое новое обложение крепостных должно было, само собою разумеется,

вызывать недовольство помещиков, ибо тем самым ослаблялась хозяйственная сила принадлежащих им «душ». Освободить крестьян от власти помещиков значило тем самым усилить власть над ними государства. Непосредственные сношения между крестьянином и государством давали гораздо больший простор министерству финансов, и уже по одной этой причине правительство должно было взять «эмансипацию» в свои руки. Прозаически говоря, вопрос об «эмансипации» сводился к вопросу о том, кому должна пойти львиная часть прибавочного продукта (т. е. прибавочной стоимости), созданного крепостным населением: *государству или помещикам?*

Государство пыталось решить этот вопрос в свою пользу. Но для этого было необходимо, чтобы крестьяне были освобождены *с землей, а не без земли*, как того требовали помещики. Конечно, историческое право русских крестьян на обрабатываемую ими землю не подлежало никакому сомнению. Но не этим правом руководствовалось правительство в своих проектах освобождения. Оно стремилось лишь к тому, чтобы дать возможность крестьянам возможно больше доставлять государству натурой и деньгами. Для этой цели безземельные поденщики были непригодны. Вот почему правительство ни в каком случае не хотело уступить требованиям помещичьей партии. Но, с другой стороны, оно, конечно, старалось по возможности подсластить ту горькую пилюлю, которую оно преподносило этой партии. Оно сделало это, заставив крестьян заплатить за отведенную им землю выкупную сумму, значительно превосходящую стоимость земли. Далее, взяв на себя в выкупной операции роль посредника, оно положило себе еще в карман изрядную особую прибыль, а именно разницу между выкупной суммой, выплаченной им помещикам, и выкупной суммой, возложенной на крестьян.

Таковы были те обстоятельства, те условия, которые определили собою начало, ход и исход освобождения крестьян в России. Рассмотрим теперь некоторые дальнейшие реформы Александра II.

Мы уже упоминали, что Крымская война вскрыла полнейшую военную несостоятельность России. Одной из наиболее отличительных особенностей русской армии был недостаток сколько-нибудь образованных офицеров. Николай прекрасно сознавал этот недостаток, но он не в силах был его устранить, ибо все его правление представляло собою не что иное, как непрерывную борьбу с образованием. Было вполне в духе этого правительства не придавать в военных учебных заведениях никакого значения наукам и, наоборот, сделать главным предметом военную муштру. К тому же и количество этих жалких учебных заведений было слишком незначительно в сравнении с потребностями армии. Поневоле приходилось производить в офицеры так называемых юнкеров, получивших домашнее образование (т. е. никакого) и прослуживших некоторое время в качестве рядовых. Немногим лучше обстояло дело с образованием и в так называемых гражданских, т. е. невоенных, учебных заведениях. И там следили более всего за тем, чтобы прививать ученикам дух послушания и покорности. Доступ в университеты в конце царствования Николая был чрезвычайно ограничен. Запрещены были лекции по философии⁸, но зато преподавалась студентам – маршировка! Само собою понятно, что правительство, проученное проигрышем Крымской кампании, решило подтянуться («*se recueillir*») и предоставить образованию несколько больше простора. Были основаны новые гимназии и прогимназии для мальчиков, равно как рядом с имевшимися уже «институтами для благородных девиц», т. е. для дочерей дворян, – гимназии и прогимназии для девочек всех сословий. Отменены были постановления, ограничивавшие число студентов, высшие технические учи-

⁸ Судьба философии в России была всегда чрезвычайно изменчива. То философия правительством даже поощрялась, как оплот против «мечтаний о равенстве и необузданной свободе», то опять изгонялась из университетов, как главный источник этих «мечтаний». Последнее произошло при Николае в 1850 г. «Соблазнительным умствованиям философии положен конец!» – радостно воскликнул по этому случаю тогдашний министр народного просвещения. Некоторые из профессоров философии сделаны были при этом цензорами. Отсюда можно видеть, до какой степени неразвиты должны были быть их «мечтания о необузданной свободе».

лица (которые были при Николае кадетскими! корпусами) были реформированы, наконец, для военных учебных заведений наступила настоящая новая эра, в особенности с тех пор, как Милютин был назначен военным министром. Уроки маршировки были почти что сведены на нет (им было отведено не больше одного часа в неделю), преподавание разумно организовано, программа значительно расширена, телесные наказания выведены были почти что совсем из употребления (уничтожить их совсем не мог решиться царь-освободитель – ни здесь, ни в армии вообще). Но основное зло этими мероприятиями не было все же устранено; реформированные военные учебные заведения доставляли сравнительно незначительное количество офицеров, и по-прежнему приходилось производить в офицеры уже упомянутых юнкеров. Однако эти реформы Александра II увеличили все же в огромной степени количество учащейся молодежи, учащаяся же молодежь играла не малую роль в общественном движении того времени.

Но как далеко ни заходила реформа школ, последнего шага в этой области правительство *самодержавного* царя не могло и не хотело сделать: по-прежнему отсутствовало в России то, что называется академической свободой, университетские советы были совершенно подчинены попечителям учебных округов, чиновникам, часто не имевшим ничего общего с делом «народного просвещения». Так, напр., в медовый месяц Александровского либерализма, в 1861 году назначен был попечителем Петербургского учебного округа *кавказский генерал Филиппсон* (в это же самое время министром народного просвещения был назначен *адмирал Путятин*). Естественным следствием этого были студенческие «беспорядки», повторяющиеся и до настоящего времени с правильностью астрономических явлений.

Русское судопроизводство было издавна известно как своей подкупностью, так и совершенным незнакомством судей с теми законами, на основании которых они должны были судить. Реформа суда была безобиднейшей из всех реформ Александра II. Если оставить в стороне прежних развращенных судей, то она приветствовалась всеми. Но если ее хотели вообще провести последовательно до конца, то представлялось безусловно необходимым ограничить как полицейскую, так и вообще административную власть, которая позволяла себе исправлять на свой лад судебные решения. Но и этого не хотело правительство самодержавного реформатора, да и не могло хотеть. Вот почему реформированное судопроизводство в России осталось экзотическим растением: оно так же подходит ко всему государственному строю России, как шелковый цилиндр к одетому в звериные шкуры эскимосу.

Взглянем, наконец, на последнюю реформу, продиктованную потребностями времени и осуществленную «царем – освободителем». Правительство видело, что его средств не хватает даже для самых настоятельных потребностей государства. Оно решило поэтому часть государственных расходов свалить на плечи органов местного самоуправления. Правительственные чиновники, однако, не в состоянии были бы взять на себя трудную задачу найти средства для покрытия местных «*обязательных расходов*». Кроме того, у них заведомо были слишком длинные руки. Поневоле приходилось поэтому обращаться к населению, октроировать ему местное «самоуправление», поставленное, однако, под строгий контроль государственной власти и под этим контролем оставшееся. При этом в земствах преобладание было предоставлено *крупному землевладению*. Но, чтобы, с другой стороны, соблюсти интересы также и буржуазии, которая в то время тепло выращивалась, у земств отнято было право облагать по своему усмотрению промышленные заведения: с этой целью правительство установило особую, для крупных предпринимателей в высшей степени выгодную, норму. В конце концов, здесь, как и всюду, мужик должен был нести все издержки: земства обычно облагали налогами крестьянские земли по гораздо высшей норме, чем земли богатых помещиков.

Лишь с натяжкой можно назвать реформой некоторое смягчение цензуры, строгость которой в последние годы царствования императора Николая доходила до невероятных размеров, до абсурда, – до запрещения употреблять выражение «вольный дух» в поваренных книгах. Но этим все же печати дана была возможность обсуждать вопросы, которых она при жизни

«незабвенного» не смела касаться даже намеком. Наш Николай положил бы конец литературной деятельности Чернышевского с первой же более крупной работы, представленной им в цензуру.

Таковы важнейшие реформы Александра II. Посмотрим теперь, как к ним относились различные сословия русского населения.

В России существовали и существуют четыре крупных сословия: духовенство, дворянство, купечество (крупная и средняя буржуазия) и крестьянство. Городская мелкая буржуазия, под названием мещанства, образует особое, пятое сословие. При Николае, впрочем, оно по своему правовому положению ничем почти не отличалось от не помещичьих крепостных. Мелкие буржуа совершенно так же, как государственные крестьяне, находились в подлинно крепостных отношениях к государству.

Духовенство распалось и распадается на духовенство монашествующее и светское. Высшие церковные чины берутся из числа монашествующих, принадлежащие к светскому духовенству никогда не поднимаются выше священнического сана. В то время, как монастырское духовенство владеет огромными богатствами, светское духовенстве очень бедно. В крестьянской реформе *непосредственно* не было заинтересовано ни то, ни другое: в то время духовенство уже не имело права владеть «крепостными душами». Светское духовенство, однако, в общем радостно приветствовало падение того порядка, при котором даже архиереи были преисполнены казарменного духа и пытались ввести заправскую военную дисциплину среди духовенства. К тому же общественная жизнь, пробуждавшаяся вместе с реформами, открывала детям светского духовенства⁹ совсем новые пути. Среди учащейся молодежи, а также и в литературе того времени «семинаристы» (сыновья духовных лиц) играли в высшей степени выдающуюся и чрезвычайно радикальную роль.

Интересы дворянства были существенно затронуты «освобождением» крестьян. Против отмены устарелого крепостного права восставали, правда, лишь самые невежественные и отсталые помещики. Но зато вопрос о том, *как* произвести реформу, имел для всего дворянства огромную важность. Помещичья партия, как уже упоминалось, хотела освободить крестьян без земли, на что, однако, правительство не могли согласиться. Отсюда оппозиционное настроение дворянства. «Большая корона царя, – полагали помещики, – состоит из наших маленьких корон: царь, разбивая *наши* короны, тем самым разбивает и свою собственную». В устах большинства эти слова звучали, как злорадное пророчество. Но среди дворянства было и либеральное меньшинство, которое, не будучи настроено против проекта правительственной реформы, тем не менее, стремилось к тому, чтобы «привести весь остальной состав Русского Государства в гармонию с совершившимся переворотом, а для этого, раскрыв беспощадной рукой все безобразия нашей администрации, суда, финансов и т. д., требовать созвания Земского Собора, как единого спасения России, – одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, *им начатое*»¹⁰. В феврале 1862 года дворянское собрание Тверской губернии высказалось в адресе, поданном императору, *за созыв Национального Собрания*. Подобные же проекты адресов вырабатывались дворянством и в других губерниях. Носились даже с мыслью об общем адресе, подписанном *представителями различных сословий*. Правительство, однако, без труда подавило конституционные вожеления дворянства. Освобожденные правительством рабы готовы были бы при первом же намеке свести на нет всякие практические попытки вчерашних рабовладельцев.

Купечество, крупная и средняя буржуазия, радостно приветствовало все реформы «Освободителя»: оно чувствовало, что наступило, наконец, его время, и не обнаружило ни малейшей склонности делать оппозицию.

⁹ Как известно, для русского светского духовенства обязательно не безбрачие, а, наоборот, заключение брака.

¹⁰ Из письма И. С. Тургенева к Герцену от 8 октября 1862 г.

О настроении *крестьянства* во время Крымской войны мы уже говорили. До тех пор, пока правительство не приступило к отмене крепостного права, можно было ожидать непрерывного нарастания брожения среди крестьян. Но как только началось дело «эмансипации», крестьяне стали терпеливо ожидать его окончания. Вопрос был только в том, как они примут «дарованную им правительством свободу». Ну, а что, если они захотят потребовать другой, более полной свободы? – Этому опасался царь, чиновники, дворяне, на этом строили свои расчеты тогдашние *революционеры*.

Революционная партия того времени рекрутировалась по преимуществу из так называемых *разночинцев* (деклассированных, собственно говоря – «людей различных сословий»). Чтобы понять историю происхождения этого слоя населения, нужно иметь в виду, что в России сословные права наследственны только в дворянстве, в мелкой буржуазии и в крестьянстве. Конечно, «права» крестьянства до сегодняшнего дня чрезвычайно похожи на полное бесправие, но это ничего не меняет по существу. Какое бы занятие ни выбрал сын крестьянина, он остается крестьянином, разве только он на государственной службе получит «чин» (степень в чиновной иерархии) или запишется в купеческую гильдию, что дозволено всякому, имеющему нужные деньги для того, чтобы оплатить гильдейское свидетельство, – или, наконец, если он припишется к городскому мещанскому обществу. Точно так же сын дворянина¹¹ – дворянин, вспахивает ли он землю плугом или служит лакеем. Другое дело – сыновья лиц духовного звания и купцов. Купеческий сын остается принадлежащим к купеческому сословию только в том случае, если он оплатит гильдейское свидетельство, иначе он попадает в категорию разночинцев. Разночинцем становится и сын лица духовного звания, не желающий следовать отцовской профессии. Бесправие «мелких буржуа», правда, так же наследственно, как и права дворян; но уже само разнообразие мелкобуржуазных профессиональных занятий сближает принадлежащих к этому «сословию» с разночинцами. *Разночинцами фактически делаются все те, чья деятельность выпадает из рамок сословного деления.*

Разночинцы были всегда чрезвычайно многочисленны. Без них были бы невозможны многие отправления государственной машины и общественной жизни. Но до реформ разночинец находился в очень угнетенном положении, он был к тому же недостаточно образован. Всегда и везде должен был он уступать дорогу лицам, принадлежащим к привилегированным сословиям. Только реформы, вызвавшие к жизни новые общественные отношения, дали проявиться разночинцу. Теперь он мог обеспечить себе положение инженера, адвоката или врача, – положение, которое во всяком случае было много лучше, чем, например, положение сельского церковнослужителя. Разночинцы и устремились поэтому толпами в учебные заведения, а с ними вместе также и дети обедневшего поместного дворянства.

У образованного разночинца не было свойственного дворянину светского лоска. Он не знал иностранных языков, его литературное образование оставляло желать многого. Однако в одном, по крайней мере, он несомненно превосходил обленившегося дворянина: вынужденный с раннего детства к жестокой борьбе за существование, он был несравненно его энергичнее. Правда, это качество разночинца давало и дает себя знать порой весьма тягостно русскому народу. Разночинец в качестве чиновника борется гораздо более выдержанно с «вольномыслием», чем чиновник из дворянства. В качестве землевладельца разночинец лучше умеет эксплуатировать бедного крестьянина, чем «барин» старого образца. Но зато разночинец имеет и несравненно больше выдержки и умения в борьбе с правительством, как только он попадает в оппозицию. А это с ним очень часто случается. У Бомарше Фигаро говорит, что для того, «чтобы только существовать» (*rien que pour exister*), ему нужно больше ума, чем для того, «чтобы править всей Испанией» (*pour gouverner toutes les Espagnes*). То же мог бы сказать о

¹¹ Правда, в России среди чиновников имеется «личное» дворянство, но уже самое обозначение показывает, что его сословные права не наследственны.

себе и русский разночинец, имеющий к тому же дело с гораздо более деспотическим и ни с чем не считающимся правительством, чем французское правительство доброго старого времени. Как представителю «свободной профессии», ему нужна прежде всего свобода, а между тем он на каждом шагу натывается на безграничный полицейский произвол. Неудивительно, стало быть, что «отрицательное направление» находит в рядах разночинцев благоприятную почву. И притом он не ограничивается в своем «отрицании» свойственным дворянину остроумным, но поверхностным будированием. Недаром назвал его «нигилистом» изящный, всесторонне образованный и либеральный дворянин Тургенев: в своем «отрицании» он и в самом деле ни перед чем не отступает, – от слов он быстро переходит к делу. Образованный разночинец, это – вестник новой России, объявляющий старому порядку войну не на живот, а на смерть, и в этой войне берущий на себя опасную роль авангарда.

Вплоть до конца семидесятых годов история русского революционного движения была по преимуществу историей борьбы этого слоя населения против царизма. Но тут к разночинцу приходят на помощь новые силы; постепенно втягивается в борьбу рабочий класс, пролетарии физического труда, число которых постоянно растет и которые начинают уже сознавать предстоящую им политическую задачу¹². В те годы, однако, о которых идет речь, этого рода борцы находились еще лишь *in statu nascendi* в полном смысле этого слова, на них нельзя еще было рассчитывать, и разночинцу приходилось, как бы там ни было, начинать борьбу на собственный риск.

Обратимся теперь к комплексу идей, под знаменем которых началась освободительная борьба в России. При Николае русская литература не смела трактовать никаких политических и общественных вопросов. Она по необходимости должна была замкнуться в рамки «изящной литературы» и ее критики. В этих областях она, правда, сделала очень много. В то время действовал русский Лессинг, Белинский, писал Гоголь свои бессмертные произведения, формировались дарования лучших романистов России. И до настоящего дня все выдающееся, что создано в России в области беллетристики и критики, есть, собственно говоря, лишь выполнение Литературных заветов эпохи сороковых годов. Если, таким образом, литературная зрелость России была в то время вне сомнения, то зато ее политическая зрелость являлась еще делом будущего. Общественно-политические темы затрагивались тогда лишь в ожесточенных спорах, ведшихся между славянофилами и «западниками» по вопросу о том, должна ли Россия или нет идти по пути общеевропейского развития. «Западники» отвечали на вопрос утвердительно, славянофилы же, наоборот, старались доказать, что Россия должна создать особую цивилизацию под покровительством греческо-русского бога и чисто русского царя. Спорный вопрос был в высшей степени важен; он дал толчок появлению многих блестящих и содержательных трудов; однако его окончательное решение было невозможно, с одной стороны, потому, что цензура не позволяла спорящим выходить за пределы самых неясных намеков, а с другой – и это самое главное – ни одна из спорящих сторон не располагала необходимым для правильного освещения вопроса фактическим материалом.

Передовые русские люди Николаевского времени исходили в своих литературных и политических суждениях из философии Гегеля. Знаменитый германский мыслитель царил в течение некоторого времени в России так же неограниченно, как и петербургский император, – с тем, правда, отличием, что самодержавие Гегеля признавалось в маленьких и немногочисленных философских кружках, тогда как самодержавие Николая простиралось, по выражению русского поэта Пушкина, «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды». И надо признаться, что Гегель порой играл с русскими более злые шутки, чем Николай. Плохо понятое или, вернее, совсем не понятое учение о разумности всего действительного представилось рус-

¹² См. превосходную статью П. Аксельрода: «Политическое пробуждение русских рабочих». «Neue Zeit», X г. изд., No № 28–30.

ским гегельянцам, как своего рода николаевская жандармерия. Но николаевского жандарма можно было ненавидеть, его можно было провести. Но как мог русский гегельянец решиться на то, чтобы провести духовного жандарма, поставленного над ним, как он думал, его добровольно избранным учителем? Это была целая трагедия, которая кончилась восстанием против «метафизики» вообще и против Гегеля в особенности.

Русская «действительность» – крепостное право, деспотизм, всемогущество полиции, цензура и т. д. и т. д. – казалась передовым людям того времени гнусной, несправедливой, невыносимой. С невольной симпатией вспоминали они о недавно перед тем бывшей попытке декабристов преобразовать эту действительность. Но самые, по крайней мере, способные из них не удовлетворялись уже ни отвлеченным отрицанием XVIII века, ни вздутым, эгоистичным, ограниченным отрицанием романтиков. Гегель сделал их теоретически более требовательными. Они знали, что история есть закономерный процесс, что отдельный человек совершенно бессилён, если он вступит в конфликт с законами общественного движения. Они говорили себе: «или ты должен доказать разумность твоего отрицания, оправдать его бессознательным ходом общественного развития, или же от него отказаться, как от индивидуальной мечты, как от детского каприза». Однако теоретически оправдать отрицание русской действительности внутренними законами развития самой этой действительности значило решить задачу, с которой не справился бы и сам Гегель. Возьмем, напр., русское крепостное право. Оправдать его отрицание, – значило представить доказательства, что оно само себя отрицает, т. е. что оно не удовлетворяет более общественным потребностям, которыми оно некогда было вызвано к жизни. Каким же общественным потребностям обязано русское крепостное право своим возникновением? Экономическим потребностям государства, которое бы погибло от отсутствия сил, если бы не сделало крестьянина крепостным. Нужно было поэтому показать, что крепостное право в XIX веке не только не удовлетворяет больше экономическим потребностям государства, но является прямой помехой для их удовлетворения. Это было позже самым убедительным образом доказано Крымской войной. Но, повторяем, *доказать* это *теоретически* был бы не в состоянии и сам Гегель. Правда, согласно смыслу его философии, корни исторического движения каждого общества надлежит искать в его внутреннем развитии, – чем правильно намечена была важнейшая задача обществознания. Но сам Гегель не мог обойтись без того, чтобы не противоречить этой в высшей степени правильной точке зрения. В качестве «абсолютного» идеалиста он рассматривал логические свойства «идеи», как основную причину всякого развития, а следовательно, и исторического развития. И всякий раз, когда ему приходилось иметь дело с большим историческим вопросом, он ссылался прежде всего на эти свойства «идеи». Но это значило покинуть историческую почву и отнять у себя возможность вскрыть действительные причины исторического движения. Как человек гигантской, поистине редкой, силы мысли, он, разумеется, сам чувствовал, что дело неладно, что его объяснения, собственно говоря, ничего не объясняют. Он спешил поэтому, после того как оказал должное почтение «идее», спуститься на конкретную историческую почву, чтобы искать действительные причины общественных явлений уже не в свойствах идеи, а в них самих, в тех явлениях, исследованием которых он в свое время занимался. При этом он очень часто высказывал в высшей степени гениальные догадки (прозревая *экономические* причины исторического движения). Однако это были только догадки. Не имея под собой систематической основы, они не играли важной роли в исторических взглядах Гегеля и его учеников. В то время, когда они были высказаны, они не обратили на себя внимания. Великая задача, предуказанная обществознанию настоящего столетия Гегелем, осталась не решенной: действительные, внутренние причины исторического движения остались не открытыми. И само собою разумеется, Россия не была страной, в которой бы они могли быть открыты. Общественные отношения России были слишком неразвиты, общественный застой имел там слишком прочные корни для того, чтобы искомые причины могли выступить на поверхность общественной жизни. Эти причины были открыты Марксом

и Энгельсом в Западной Европе в совсем другой социальной обстановке. Однако, – и это случилось несколько позже, – в занимавшее нас время и западноевропейские радикальные гегельянцы также путались в противоречиях идеализма. После всего сказанного будет ясно, почему молодые русские ученики Гегеля должны были начать с полнейшего примирения с русской «действительностью», – «действительностью», которая, кстати сказать, была так гнусна, что сам Гегель никогда бы не признал ее «действительной»: так как они не могли теоретически оправдать своего отрицательного отношения к этой действительности, то оно потеряло в их глазах всякое разумное право на существование. Поэтому они отказались от своего отрицания и самоотверженно принесли свои социальные стремления в жертву своей философской совести. Но, с другой стороны, сама действительность заботилась о том, чтобы они были вынуждены взять назад эту жертву. Ежедневно и ежечасно демонстрировала перед ними действительность свою собственную гнусность и *вынуждала*, во что бы то ни стало, сохранять отрицание даже и тогда, когда оно не было теоретически достаточно обосновано. Так они уступили давлению действительности и заняли по отношению к ней враждебную позицию, не заботясь более о том, отвечает ли это духу Гегелевской философии или нет. Русские гегельянцы, таким образом, восстали против своего учителя и начали осыпать насмешками еще недавно в их глазах столь почтенный «философский колпак». Правда, это восстание в тогдашних условиях заслуживало бесспорно всяческой похвалы. Не следует, однако, забывать, что передовые люди России именно тем самым понижали уровень своих *теоретических запросов* и отказывались от мысли оправдать свое отрицание объективным ходом общественного развития, удовлетворяясь просто тем, что их отрицание отвечало их *личному* настроению. Таким образом, следовательно, противники русской «действительности» встали на *утопическую точку зрения*, за которую после них держались многие русские революционеры. Только теперь, под влиянием учения Маркса и Энгельса, замечается в России известный поворот к научному социализму. В ту же эпоху, о которой идет речь, т. е. в начале царствования Александра II, даже самые талантливые представители революционной мысли в России не выходили за пределы утопического социализма, да и не могли за его пределы выйти.

Утопический социализм, как известно, совершенно не умел ставить пролетариату сколько-нибудь определенные политические задачи. Ведь видел же он в пролетариате не более, как угнетенную, страдающую массу, неспособную защищать свое собственное дело. Это была самая слабая сторона утопического социализма в политическом отношении, та сторона, которая резко выступает в домарксистский период всего социалистического движения. В России эта слабая сторона утопического социализма выражалась в том, что его сторонники постоянно колебались в своем отношении к царизму и колеблются еще и до настоящего времени. То они полагали, что должны «предоставить мертвецам хоронить своих мертвецов» и лишь работать для осуществления своих более или менее социалистических «идеалов», игнорируя при этом все то, что хотя бы отдаленно пахнет «политикой». То, наоборот, они мечтали о «чисто политических» заговорах и успокаивали свою социалистическую совесть тем соображением, что ведь русский «народ» и без какой-либо социалистической пропаганды «по природе своей» был всегда коммунистом и таковым же останется. Это душеспасительное убеждение опиралось на существующую в России сельскую общину с периодическими переделами, открытую немцем Гакстхаузенем, которого, впрочем, натолкнули на нее славянофилы.

«Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания, – писал Маркс весной 1845 г., – и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания, забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно необходимо приводит поэтому к разделению общества на две части, из которых одна стоит

над обществом (напр., у Роберта Оуэна)»¹³. Русские последователи утопического социализма становились в своих программах всегда над обществом, что и приносило им много неудач и много разочарований.

Читатель понимает, что цитированные слова Маркса относятся не к современному диалектическому материализму, – как раз тесно связанному с именем Маркса, – а к старому метафизическому материализму, который не умел рассматривать ни природу, ни общественные отношения с *исторической* точки зрения. Этот-то материализм и начал весьма широко распространяться в России в конце пятидесятих годов. Имена Карла Фохта, Бюхнера, Молешотта приобрели тогда почетную известность, тогда как немецкие идеалистические философы были ославлены, как реакционеры. Особенно озлобленное отношение сложилось у «интеллигентного пролетариата» России к Гегелю. Это была, однако, крайность, от которой далеки были наиболее образованные представители этого пролетариата. Те, кто знакомы были с историей немецкой философии, продолжали по-прежнему чтить в Гегеле великого мыслителя, хотя они ни в малой мере, разумеется, не увлекались его философией. Для них тогда первым авторитетом в философии был Фейербах. Фейербах, правда, много выше Фохта или Молешотта. Он инстинктивно чувствовал недостатки того материализма, который проповедовался ими. Он не был, однако, в состоянии критически преодолеть эти недостатки, подняться до диалектического понимания природы и общества. «За точку отправления он берет человека. Но он ни единым словом не упоминает об окружающем человека мире, и потому его человек остается тем же отвлеченным человеком, который фигурирует в религии. Этот человек не рожден женщиной; он, как из куколки, вылетает из бога монотеистических религий. Поэтому он живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он сносится со своими ближними, но его ближние так же отвлечены, как и он»¹⁴.

Ясно поэтому, что философия Фейербаха не была в состоянии вскрыть образованным разночинцам пятидесятих годов слабую сторону утопического социализма. А дальше Фейербаха в то время не шел никто в России. Исторические взгляды Маркса и Энгельса были там еще совсем неизвестны. Правда, сочинение Дарвина о происхождении видов было очень скоро после своего появления переведено на русский язык; но «интеллигентные пролетарии» пользовались им исключительно как оружием в борьбе против религиозных предрассудков. «Интеллигентные пролетарии» остались надолго погрязшими в одностороннем метафизическом материализме.

Мы должны, кроме того, отметить, что экономические познания не только читающей публики, но и наиболее образованных писателей сороковых годов, были в высшей степени скудны. Белинский в своих статьях никогда не затрагивал экономических вопросов, а Герцен до самой своей смерти оставался при твердом убеждении, что Прудон был великий экономист. В начале шестидесятых годов политическая экономия, правда, сделалась в России подлинно модной наукой, однако увлечение не могло собою заменить недостающих положительных знаний: первые попытки в области этой науки были по необходимости *утопического* характера.

Энгельс где-то замечает, что «любовь» помогала немецким социалистам утопического периода справляться со всякого рода теоретическими трудностями. То же самое можно сказать и об «интеллигентном пролетариате» России, – с той лишь разницей, что там, где «любовь» отказывалась служить свою службу, на помощь притаскивался тот абстрактный «разум», который является отличительнейшей чертой всех просветительных периодов, и с точки зрения этого разума легко и быстро решались труднейшие общественные вопросы. – Пушкин рассказывает об одной высокопоставленной старой русской даме, которая знакома была в годы своей юности с известным французским революционером Роммом, что она так о нем отзывалась:

¹³ См. приложение к «Людвигу Фейербаху» Энгельса, стр. 37.

¹⁴ Фр. Энгельс в указанном месте, 3-я гл.

«C'était une forte tkte, un grand raisonneur; il vous aurait rendu claire l'apocalypse». Вот подобными-то «fortes tktes» и «grands raisonneurs» были и русские просветители первых годов царствования Александра II. Они так же хорошо, как и Ромм, могли бы объяснить апокалипсис, и им бы и в голову не пришло рассматривать его с исторической точки зрения.

Н. Г. Чернышевский

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами».

(Из письма Чернышевского к жене, писанного в Петропавловской крепости 5 октября 1862 года).

Семнадцатого октября 1889 года скончался Николай Гаврилович Чернышевский. Наши «легальные» издания проводили его в могилу лишь краткими и сухими некрологами. Этими некрологами и окончились литературные поминки по писателе, деятельность которого составила эпоху в истории нашей литературы. Сказав о нем два-три слова робким и заикающимся голосом, наша «независимая» печать – об «охранительной» мы здесь не говорим, – по-видимому, совершенно забыла о нем, как будто бы она торопилась перейти к более интересным темам. Со стороны, например, иностранцу, знающему русский язык и знакомому с русской литературой, это, наверное, показалось бы очень странным. Правда, теперь, господу спешествующу, у нас уже нет ни одного журнала, который мог бы назваться вполне симпатизирующим стремлениям и взглядам покойного Чернышевского. Русская мысль ушла так далеко вперед по сравнению с концом пятидесятых и началом шестидесятых годов, мы стали теперь такими трезвыми, умеренными и благоразумными, что знаменитый автор романа «Что делать?» может казаться нам не более как даровитым, но слишком уже непрактичным и отчасти даже несколько опасным мечтателем. Мы уже знаем теперь, что *делать* нужно совсем не то, что хотел делать Чернышевский. Он рассуждал на социалистические темы, а мы думаем, что достаточно отстоять земское саморазорение и спасти от зубов кулака хвостик сельской общины. Так умиротворились мы, умудренные опытом. Но этого мало. Главное то, что теперь мы *делаем* (когда делаем) совсем не так, как *делал* Чернышевский. Мы поспешаем с медленностью, а он как будто и не слыхал об этом мудром правиле. Он делал иногда такие неосторожные шаги, позволял себе такие необдуманно-смелые выражения, от одного воспоминания о которых теперь, по прошествии почти тридцати лет, может заболеть лихорадкой трезвый, благоразумный, либеральный или умеренно-радикальный «имя – рек». Все это так, все это не подлежит ни малейшему сомнению. Но ведь не нужно вполне разделять взгляды и стремления писателя для того, чтобы посвятить оценке его деятельности несколько печатных листов в журнальной книжке. Для этого достаточно знать, что он, по тем или другим причинам, играл в свое время заметную роль в литературе. Какой же либеральный «имя – рек» может одобрить взгляды Каткова? А между тем, мало ли кричали о нем после его смерти? Или, может быть, деятельность Михаила Никифоровича Каткова заслуживает большего внимания, чем деятельность Николая Гавриловича Чернышевского? Едва ли мы дошли до такой степени благоразумия, чтобы думать подобные вещи.

Дело объясняется гораздо проще. Николай Гаврилович Чернышевский был жертвой самых злых, самых беспощадных преследований со стороны правительства. Говоря о *жертве*, наша «независимая» печать, при всем испытанном благоразумии своем, не может не высказать нескольких горьких истин *палачам*. А так как цензурная ферула находится в руках именно этих палачей, то не удивительно, что наши периодические издания сочли за лучшее совершенно обойти щекотливую тему. «С сильным не борись», – говорит наша народная мудрость, и в этом случае с нею совершенно сходится мудрость русской печати.

А, право, нельзя не пожалеть об этом совпадении двух мудростей. Поучительно было бы сравнить век нынешний и век минувший и воочию, на разборе сочинений Чернышевского, показать читателю, как далеки мы теперь от лжеучений этого социалиста и революционера. Убедившись в этом, читатель лишний раз поблагодарил бы небо за быстрое развитие русской общественной мысли.

Нас, пишущих за границей, цензурная ферула трогает лишь косвенно, через посредство разных дипломатических «давлений». Притом же мы оттого и пишем за границей, что не успели еще проникнуться достаточной степенью благоразумия, и до сих пор думаем, что не мешает иногда вступить в борьбу с сильным и напомнить палачам об их жертвах. Вот почему мы сочли своею обязанностью в первой же книжке нашего журнала сделать по возможности полную и беспристрастную оценку литературной деятельности Н. Г. Чернышевского. Как ни приятно было для нас исполнение этой обязанности, но оно в то же время было не легко. Мы уже не говорим о недостаточности наших сил для такого важного дела. Это разумеется само собою. Но, кроме того, мы просим читателя помнить, что до настоящего времени не существует еще полного собрания сочинений Чернышевского. Изданные за границей (г. Эллидиным и отчасти г. Жемановым) статьи его далеко не составляют и половины всего им написанного. Поэтому мы вынуждены были обратиться к первоначальному источнику, т. е. к журналу «Современник», в котором главным образом писал Николай Гаврилович. Всем известно, легко ли доставать старые русские журналы за границей. Мы только отчасти могли справиться с этой трудностью. Мы не могли достать «Современник» за некоторые из тех годов, к которым относится сотрудничество в нем Чернышевского. При чтении же тех книжек его, которые удалось достать нам, мы встретили новое затруднение. Очень многие статьи Чернышевского, – именно, все статьи в отделах «новых книг», «политики» и «литературы» (русской и иностранной) – печатались без подписи. Нам пришлось поэтому с работой критика соединить работу библиотекаря и перечитывать неподписанные статьи с тем, чтобы, по языку и приемам изложения, определить вероятность их принадлежности Н. Г. Чернышевскому. Понятно, что здесь возможны были сомнения и даже ошибки. Как ни своеобразна литературная манера Чернышевского и как ни легко узнать его слог всякому, кто прочел со вниманием хоть немногие из его произведений, но все-таки относительно некоторых статей мы так и не могли решить, принадлежат ли они ему или кому-нибудь другому. Вообще говоря, мы избегали ссылок на подобные сомнительные статьи. Только в одном случае, на который будет указано в своем месте, мы решились отступить от этого правила, сославшись на статью, может быть, даже вероятно, не принадлежащую нашему автору, но чрезвычайно важную для оценки взглядов кружка «Современника» на социальный вопрос. Все же остальные из цитируемых нами статей несомненно написаны Чернышевским, и в этом легко убедится всякий, кто потрудится прочесть их. После этой необходимой, но мало интересной оговорки мы могли бы, кажется, перейти к делу. Но нам, как на грех, подвертывается на язык новая оговорка. Мы хотим извиниться перед читателем в том, что наш критический очерк начнется довольно длинной выпиской. Кто не знает, что подобные введения и некрасивы, и педантичны? Но мы миримся с этим обстоятельством, потому что наша выписка хорошо пояснит наше отношение к делу. Когда приятное идет вразрез с полезным, то часто поневоле жертвуешь полезному приятным. Впрочем, выписка эта берется нами из хорошего источника, из того самого автора, о котором пойдет у нас речь, и именно из его *«Очерков Гоголевского периода русской литературы»*.

«Если у каждого из нас, – говорит он в этих очерках, переходя к критике Гоголевского времени, – если у каждого из нас есть предметы столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, – если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика Гоголевского периода зани-

мает между ними одно из первых мест, наравне с Гоголем... Потому-то будем говорить о критике Гоголевского периода как можно холоднее; в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы; есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства». Мы относимся к гениальному критику Гоголевского периода, В. Г. Белинскому, с таким же глубоким уважением и с такою же горячею любовью, какую питал к нему автор цитируемых очерков. В этом отношении мы ничего не можем ни убавить из сделанной выписки, ни прибавить к ней. Но мы заметим, что в настоящее время для всякого русского социалиста предметом такой же горячей любви и такого же глубокого уважения является сам Н. Г. Чернышевский. Вот почему мы последуем его собственному примеру и, говоря о нем, постараемся остаться как можно более холодными и спокойными, так как, действительно, «есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».

I

Мы не имеем в виду писать биографию Н. Г. Чернышевского. Для этого нет еще достаточных материалов. О жизни его мы имеем до сих пор лишь очень скудные сведения. То немногое, что мы знаем о нем с этой стороны, содержится в биографическом очерке, приложенном к заграничному изданию его сочинений (см. брошюру «Лессинг» и второе издание романа «Что делать?»). Очерк этот очень краток. Но в нем есть кое-какие хронологические данные, а, – что еще важнее, – в нем напечатаны документы, относящиеся к суду над Чернышевским. Разумеется, мы воспользуемся этими данными, дополняя их некоторыми фактами, заимствованными из собственных сочинений нашего автора. Но всего этого слишком и слишком мало, и потому нельзя не пожелать, чтобы лица, больше нас знающие о Чернышевском, поскорее напечатали свои воспоминания о нем, а также и имеющиеся в их распоряжении письма его и бумаги. Этим они оказали бы большую услугу и публике, и литературе.

Но в ожидании этого приходится довольствоваться теми сведениями, которые у нас уже есть. А они сводятся вот к чему. Николай Гаврилович был сын священника Саратовского собора и родился в 1829 году. Учился он сначала в Саратовской семинарии, затем – в Петербургском университете, где и окончил в 1850 году курс филологического факультета. Некоторое время после этого он был преподавателем во втором Петербургском кадетском корпусе, потом перевелся учителем гимназии в Саратов. Там, в своем родном городе, он скоро женился, если не ошибаемся, на сестре очень известного теперь ученого писателя Пыпина. Но молодому Чернышевскому, очевидно, трудно было дышать затхлым воздухом провинции, и вот уже в 1853 году мы опять видим его в Петербурге, где он снова находит себе уроки во втором кадетском корпусе, а также занимается переводами и разбором новых книг для «Отечественных Записок», издававшихся тогда Краевским и Дудышкиным. Мы едва ли ошибемся, предположив, что нашему автору пришлось испытать много нужды и лишений в этот переходный период его жизни. Он был тогда простым литературным чернорабочим, а известно, что черный труд далеко не завидно оплачивается в нашей литературе. Других же источников существования у Чернышевского никогда не было. Но он был молод, здоров и не боялся никакого труда, никаких усилий. Кроме литературных работ, необходимых для поддержания жизни, он занимался также своей магистерской диссертацией, об «эстетических отношениях искусства к действительности». Самый выбор темы для диссертации достаточно показывает, какие задачи ставил себе он в своей будущей деятельности. Со своим образованием, способностями, беспримерным трудолюбием и замечательным даром общепонятного изложения самых сухих и трудных предметов, он мог бы рассчитывать на блестящую ученую карьеру. Ему стоило только захотеть – и профессорская кафедра, наверное, была бы за ним обеспечена. Но ему хотелось другого. Его привлекала деятельность критика и публициста. Как ни строга была русская цензура, но у всех в памяти был пример Белинского, который, несмотря на цензурные рогатки, не только сумел пустить в литературное обращение множество самых важных истин, но и поставил нашу критику на совершенно новую теоретическую основу. Мы уже знаем, как горячо любил и как глубоко уважал Чернышевский этого писателя. Не удивительно, что ему хотелось идти по следам Белинского, чтобы по мере сил и возможности продолжать его дело. Притом карьера императора Николая, видимо, близилась к концу, несостоятельность его системы становилась очевидной для всех, так что при новом царствовании можно было рассчитывать на некоторую политическую оттепель и на некоторое смягчение нравов

Богомольной старой дуры,
Нашей чопорной цензуры,

как величал ее Пушкин. Начинающие писатели могли таким образом не без основания рассчитывать на несколько лучшее будущее. Наконец, у Николая Гавриловича были очень своеобразные взгляды на задачи людей, желающих посвятить свои труды благу России. В силу этих взглядов он и не мог придавать большого значения чисто ученой деятельности своих соотечественников. В цитированных уже нами «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он очень определенно высказывается на этот счет. «Многие из великих ученых, поэтов, художников, – говорит он, – имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, Гумбольдт и Либих, Кювье и Фаредэ трудились и трудятся, думая о пользах науки вообще, а не о том, что именно в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиною... Они, как деятели умственного мира, – космополиты». Но не в таком положении находятся, по его мнению, деятели умственного мира в России. Им еще нельзя быть космополитами, т. е. нельзя думать об интересах чистой науки или чистого искусства. В этом смысле, по условиям их страны, им приходится быть «патриотами», т. е. думать прежде всего о специальных нуждах своей родины. Идеалом «патриота» в этом смысле является для Чернышевского Петр Великий, человек, задавшийся целью перенести в Россию все блага европейской цивилизации. Он думал, что и в его время цель эта далеко еще не вполне была достигнута. «До сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки – содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успешными нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое сердцу, – содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины»¹⁵. Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды, искусства, науки. Как понимал он их, – это, собственно говоря, можно было бы показать при разборе его сочинений. Но прежде, чем перейти к такому разбору, нам хотелось бы охарактеризовать его общую точку зрения и показать отношение его к его литературным предшественникам. Сделав это, мы уже без большого труда сможем оценить тот или другой из его отдельных взглядов. И нам тем удобнее сделать это теперь, что у нас идет пока речь именно о том периоде его жизни, когда он, еще не принимая особенно деятельного участия в литературе, занимался выработкой своих взглядов, усвоением и анализом «высоких идей правды, искусства, науки».

Изо всех своих литературных предшественников Чернышевский с наибольшим уважением относился к В. Г. Белинскому и его кружку. Можно было бы думать поэтому, что он воспитался именно на сочинениях Белинского и его кружка, что он из этого источника почерпнул свое понимание идей правды, науки и искусства. Это, однако, не совсем так. Хотя в своих сочинениях Чернышевский вовсе не касается истории своего умственного развития, но есть у него одна маленькая заметка о Добролюбове, могущая пролить на нее некоторый свет. Мы имеем в виду письмо, написанное им после смерти Добролюбова в ответ на статью некоего г. З-на и напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1862 год. В своей статье г. З-н сказал, между прочим, что покойный Добролюбов был учеником Чернышевского и находился под сильнейшим его влиянием. Чернышевский горячо и даже очень раздражительно отрицает это, говоря, что Добролюбов совершенно самостоятельно пришел к своим взглядам и был гораздо выше его как по своим умственным силам, так и по литературному таланту. Нам не нужно решать теперь, насколько совпадало с действительностью это скромное заявление. Из всего письма Чернышевского нас интересует теперь лишь следующее место. Напомнив

¹⁵ См. «Современник, 1856 г., книгу 4, Отдел критики, стр. 29–31.

о том, что Добролюбов знал немецкий и французский языки и мог таким образом в подлиннике ознакомиться с наиболее замечательными литературными произведениями Франции и Германии, Чернышевский говорит: «Если же даровитый русский человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, написанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его, но ни в коем случае не могут уже они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения»¹⁶. Это совершенно справедливо. Но ведь Чернышевский также знал иностранные языки, также читал в решительные для его развития годы книги наших общих западных учителей. Поэтому позволительно думать, что и его могли только восхищать некоторые, писанные по-русски статьи и книги, но что, вместе с тем, и для него они не были первоначальным источником его понятий и знаний. Спрашивается теперь, каков же именно был этот первоначальный источник? В каких именно литературах и в каких отраслях этих литератур следует нам искать его?

В тридцатых и сороковых годах для наших молодых людей, в решительные годы их развития, одним из важнейших пособий являлась, между прочим, немецкая философия. В последующие десятилетия это было уже иначе. В пятидесятых годах к немецкой философии у нас были, как кажется, просто равнодушны. В шестидесятых – к ней стали относиться с враждой и презрением. Немецкая философия была объявлена «метафизикой», на которую «мыслящим реалистам» не стоит тратить времени. Между западноевропейскими философами признаны были заслуживающими снисхождения только позитивисты. Война против немецкой философии ведена была у нас так удачно, что наши «мыслящие реалисты» могут гордиться своей победой над «метафизикой»; они с справедливой гордостью могут сказать, что не имеют о немецкой философии решительно никакого понятия. Но ни Чернышевский, ни его ближайшие друзья не принадлежали к числу этих победоносных реалистов. Они интересовались немецкой философией и внимательно изучали ее историю. Ее развитие и тогдашнее состояние, несомненно, повлияло на них очень сильно, как повлияло оно и на друзей Белинского. Но кем же из немецких философов мог увлекаться Чернышевский?

Конечно, не Фихте, не Шеллингом и не Гегелем. Ими мог увлекаться в свое время Белинский, но уже и для него системы этих философов, во вторую половину его критической деятельности, представляли собою, как говорят немцы, *ein überwundener Standpunkt*. Тем более можно сказать это о Чернышевском. В то время, к которому относятся решительные годы его развития, философия уже навсегда распростилась со всеми разновидностями идеализма. Но если это было так, то какой же из немецких философов мог иметь на него наибольшее влияние? Поищем намек на ответ опять-таки в его собственных сочинениях. В своих «Полемических красотах», написанных в ответ «Русскому Вестнику» и «Отечественным Запискам», сильно нападавшим на все его направление вообще и на его статью «Антропологический принцип в философии», Чернышевский категорически говорит, что он придерживается одной философской системы, «составляющей самое последнее звено в ряду философских систем» и «вышедшей из Гегелевской системы, точно так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой». Люди, знакомые с историей философии, уже отсюда видят, о какой системе говорит он. Тем же, которым дело не ясно, мы приведем еще несколько строк. «Вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? – спрашивает Чернышевский Дудышкина в той же статье. – Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он – не русский, не француз, не англичанин, – не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, Фохт, – кто же он такой? Вы начинаете догадываться?..» И действительно, нельзя не догадаться: Чернышевский говорит о Фейербахе. На Фейербаха указывает самое название единственной философской статьи, написанной Чернышевским: об *антропологической* точке зрения в философии загово-

¹⁶ «В изъявление признательности, письмо к г. З-ну», «Современник», февраль 1862 года.

рил впервые именно Фейербах. Мы могли бы привести из статей Чернышевского много доказательств того глубочайшего уважения, с которым он относился к Фейербаху. Для него Фейербах не ниже Гегеля, а этим сказано очень много, потому что Чернышевский считал Гегеля одним из гениальнейших мыслителей. Итак, философская точка зрения нашего автора найдена. Как последователь Фейербаха, Чернышевский был материалистом. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами, – писал он в названной выше уже статье об «антропологическом принципе в философии», – служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его природе, то другой природы в нем нет». Это не нуждается в толкованиях.

II

Но не мешает указать то место, которое принадлежит в истории философии учителю нашего автора. Учение Фейербаха вышло из учения Гегеля. Но Гегель был идеалистом, Фейербах – решительным материалистом. Главная заслуга Фейербаха в том и заключается, что в его лице философия навсегда покончила с идеализмом. Однако здесь следует оговориться. Материалисты были и раньше Фейербаха. Чтобы не далеко ходить за примерами, укажем хоть на французских материалистов конца прошлого века. «*Système de la Nature*» – совершенно материалистическая книга. Но можно ли сказать, что Фейербах просто-напросто возвратил философию ко взглядам барона Гольбаха и его друзей? Это было бы несправедливо. Новейший материализм весьма значительно отличается от материализма конца прошлого века; различие это заключается главным образом в самом *методе мышления*. Современный материализм – конечно, в лучших, развитых своих представителях – держится особого метода мышления, который называется *диалектическим*, и который французским материалистам прошлого века был гораздо менее свойствен, чем, например, деисту Руссо. Нам нет надобности объяснять читателю, в чем заключаются особенности современного диалектического метода мышления, так как это уже сделано лицом, гораздо более нас компетентным. Вот что говорит на этот счет Фридрих Энгельс, человек, который своими трудами много способствовал дальнейшему систематическому развитию взглядов Фейербаха. «Для метафизика вещи и их умственные образы, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: да-да, нет-нет, что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует или не существует; для него предмет не может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие также совершенно противоположны друг другу». Не так мыслит диалектик. Он берет вещи и понятия, т. е. умственные отражения вещей, «в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении». Поэтому в его глазах все явления и все понятия приобретают совершенно другой характер, чем в глазах метафизика. Он не скажет, как это всегда с твердостью, не допускающею возражений, говорит метафизик, что предмет существует или не существует в каждое данное время. В обыденной жизни метафизик, конечно, прав, но при более внимательном, научном исследовании он совершенно сбивается с толку, и тогда начинается торжество диалектика. «Например, мы в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, что прекрасно известно юристам, так как они тщетно пытались открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка во чреве матери можно считать убийством. Так же невозможно определить момент смерти, так как физиология показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающееся явление». Далее, для диалектика очевидно, что предмет вполне может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим, так как предметы непрерывно изменяются, а изменение именно и есть тот процесс, в силу которого предмет перестает быть самим собою и становится чем-то другим. «Всякое органическое существо в каждое данное мгновение есть то же и не то же: в каждое данное мгновение оно перерабатывает получаемую извне материю и выделяет из себя другую, одни клеточки его организма умирают, а другие – нарождаются, так что, спустя известный промежуток времени, материя данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов; вот почему всякое органическое существо всегда то же и, однако, не то же». Совершенно подобным образом для диалектика понятие о положительном и отрицательном, о причине и следствии, имеют совершенно иной смысл, чем для метафизика. «При более точном

исследовании мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности, положительный и отрицательный, столь же неразрывны один от другого, как и взаимно-противоположны, и что они, несмотря на всю свою противоположность, проникают друг друга. Точно так же мы можем увидеть, что причина и следствие суть представления, имеющие значение, как таковые, лишь в применении к отдельному случаю, но как только этот случай мы станем рассматривать в его общей связи с целым миром, то убеждаемся, что причина и следствие совпадают, что их противоположность исчезает при созерцании всемирного взаимодействия, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь или здесь – следствие, то там или тогда будет причиной, и наоборот».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.